

Достоевский о русском дворянстве

I

В последний раз, рассуждая о славянофильстве и об отношениях его представителей к русскому дворянству, я упомянул о том, что Достоевский в своем романе „Подросток“ отозвался об этом высшем сословии нашем довольно благоприятно.

Молодой герой его, незаконный сын помещика Версилова, описавши все приключения отца своего и борьбу своих собственных разнородных чувств, посылает свою рукопись в Москву, к *некому Николаю Семеновичу* на прочтение.

Я старательно искал в романе фамилию этого Николая Семеновича и не нашел ее. Сказано просто (в конце): „Николай Семенович, бывший мой воспитатель в Москве, муж Марии Ивановны“... и т. д.

Возвращая эти „Записки“ молодому человеку с одобрением, Николай Семенович, между прочим, пишет ему вот что¹:

„Замечу кстати, что прежде, в довольно недавнее прошлое, всего лишь поколение назад, этих интересных юношей (т. е. подобных „подростку“) можно было и не столь жалеть, ибо в те времена они почти всегда кончали тем, что с успехом примыкали, впоследствии, к нашему высшему культурному слою и сливались с ним в одно целое.[299]*

И если, например, и сознавали в начале дороги всю беспорядочность и случайность свою, все отсутствие благородного в их, хотя бы семейной, обстановке, отсутствие родового предания и красивых законченных форм, то тем даже и лучше было, ибо уже сознательно добивались того, потом сами и тем самым приучались его ценить. Ныне уже несколько иначе — именно потому, что примкнуть почти не к чему.

Разъясню сравнением или, так сказать, уподоблением. Если бы я был русским романистом и имел талант, то непременно брал бы героев моих из русского родового дворянства, *потому что лишь в одном этом типе культурных русских людей возможен хоть вид красивого порядка и красивого впечатления, столь необходимого в романе для изящного воздействия на читателя*. Говоря так, вовсе не шучу, хотя *сам я совершенно не дворянин*, что, впрочем, вам и самим известно.

Еще Пушкин наметил сюжеты будущих романов своих в „Преданиях русского семейства“², и поверьте, что тут действительно все, что у нас было доселе красивого. По крайней мере, тут все, что было у нас хотя сколько-нибудь завершенного.

Я не потому говорю, что так уже безусловно согласен с правильностью и правдивостью красоты этой; *но тут, например, уже были законченные формы чести и долга, чего, кроме дворянства, нигде на Руси не только нет законченного, но даже нигде и не начато*. Я говорю как человек спокойный и ищущий спокойствия.

Там — хороша ли эта честь и верен ли долг — это вопрос второй; но важнее для меня именно законченность форм и хоть какой-нибудь да порядок, и уже не предписанный, а самими, наконец-то, выжитый. Боже, да у нас именно важнее всего хоть какой-нибудь да свой, наконец, порядок! В том заключалась надежда и, так сказать, отдых: хоть что-нибудь, наконец, построенное, а не вечная эта ломка, не летающие повсюду щепки, не мусор и сор, из которого вот уже двести лет все ничего не выходит.

Не обвините в славянофильстве; это я лишь так от мизантропии, ибо тяжело на сердце! Ныне, с недавнего времени, происходит у нас нечто, совсем обратное изображенному выше.

* См. Комментарий

Уже не сор прирастает к высшему слою людей, а, напротив, от красивого типа отрываются, с веселою торопливостью, куски и комки и сбиваются в одну кучу с беспорядкующими и завидующими. И далеко не единичный случай, что самые отцы и родоначальники бывших культурных семейств смеются уже над тем, во что, может быть, еще хотели бы верить их дети.

Мало того, с увлечением не скрывают от детей своих свою алчную радость о внезапном праве на бесчестье, которое они вдруг из чего-то вывели целою массой.

Но все это философия; воротимся к воображаемому романисту. Положение нашего романиста в таком случае было бы совершенно определенное: он не мог бы писать в другом роде, как в [300] историческом, ибо красивого типа уже нет в наше время, *а если и остались остатки, то, по владычеству теперь мнению, не удержали красоты за собою*. О, и в историческом роде возможно изобразить множество еще чрезвычайно приятных и отрадных подробностей! Можно даже до того увлечь читателя, что он примет историческую картину за возможную еще и в настоящем.

Такое произведение, при великом таланте, уже принадлежало бы не столько к русской литературе, сколько к русской истории. Это была бы картина, художественно законченная, русского миража, но существовавшего действительно, пока не догадались, что это мираж. Внук тех героев, которые были изображены в картине, изображавшей русское семейство средневысшего культурного круга в течение трех поколений сряду, и, в связи с историей русской, этот потомок предков своих уже не мог бы быть изображен в современном типе своем иначе, как в несколько мизантропическом, уединенном и несомненно грустном виде.

Даже он должен явиться каким-нибудь чудачком, которого читатель с первого взгляда мог бы признать, как за сошедшего с поля, и убедиться, что не за ним осталось поле.

Еще далее — и исчезнет даже и этот внук-мизантроп; явятся новые лица, еще неизвестные, и новый мираж; но какие же лица? Если некрасивые, то невозможен дальнейший русский роман. *Но увы! Роман ли только окажется тогда невозможным?*“

.....
„Не будет ли справедливее вывод, что уже множество таких несомненно родовых семейств, русских, с неудержимою силою переходят массами в семейства случайные и сливаются с ними в общем беспорядке и хаосе. Тип этого случайного семейства указываете отчасти и вы в вашей рукописи. Да, Аркадий Макарович, *вы* член случайного семейства, в противоположность еще недавним родовым нашим типам, имевшим столь различные от ваших — детство и отрочество.

Признаюсь, не желал бы я быть романистом героя из случайного семейства!

Работа неблагодарная и без красивых форм. Да и типы эти, во всяком случае, еще дело текущее, а потому и не могут быть художественно законченными. Возможны важные ошибки, возможны преувеличения, недосмотры. Во всяком случае, предстояло бы слишком много угадывать. Но что делать, однако ж, писателю, не желающему писать лишь в одном историческом роде и одержимому тоской по текущему?

Угадывать и... ошибаться“.

Так говорит у Достоевского *недворянин* „Николай Семенович“ о русском дворянстве, и автор, видимо, сочувствует ему.

Признаюсь, что при чтении „Подростка“ меня поразила *неожиданность* этого благоприятного для дворян общего вывода из [301] рассказа, которого подробности производили на меня отрицательное, местами даже до болезненности тягостное и отвратительное впечатление.

II

Припомним — каковы эти русские дворяне в романе „Подросток“.

Это, начиная с главного героя — Версилова, все какие-то расстроенные или запутанные люди; „психозные“, как нынче любят называть. Старый князь Сокольский бесхарактерен и жалок. Старший, законный сын Версилова является на минуту в очень непривлекательном виде (когда он в пунцовом халате дает деньги своему незаконному брату, не допуская его даже к себе во внутренние покои дома, и тому подобное). Молодой военный, тоже князь Сокольский, который кутит, путается и, наконец, попадает в Сибирь. Все эти лица, кажется, не таковы, чтобы располагать кого бы то ни было к политическому, так сказать, доверию. Сам Версиров — это человек совершенно исключительный. Но исключительный не в том смысле, в каком могут считаться исключительными Рудин и Лаврецкий, Печорин и Вронский; Рудин своим энтузиазмом и красноречием; Лаврецкий прямою своих чувств и безукоризненностью; Печорин своей демонической страстностью и умом; Вронский здоровьем духа и силой воли; нет, Версиров исключителен своей ненормальностью, своей невероятной изломанностью, своей неестественностью. Это тоже „психопат“, как почти все главные действующие лица Достоевского. Про таких людей, как Рудин и Лаврецкий, Печорин и Вронский, не только думается, что сами авторы знали их лично, но иногда читатель воображает даже, что он сам с ними был в действительной жизни знаком и близок. Не знаю, как другие, а я, по крайней мере, *так чувствую*, когда вспоминаю о *лицах* Толстого, Писемского, Тургенева, Островского, Маркевича и даже многих других, менее знаменитых, писателей. Из главных же лиц Достоевского я не помню ни одного, которого я мог бы вообразить действительным знакомым моим. Все главные характеры Достоевского представляются мне вариацией почти на одну и ту же психологическую тему: вариацией чрезвычайно талантливой, конечно, но все-таки вариацией на одну и ту же весьма субъективную и болезненную тему. В этом, конечно, и сила Достоевского; сила его лиризма и субъективности; но в этом и художественная слабость его. Тургенев, Писемский, Толстой, Маркевич, Островский ясно и верно *отражают* русскую жизнь. Достоевский *преломляет* ее, сообразно своему личному устройению. По романам первых четырех писателей и по комедиям Островского иностранец, например, может весьма верно воображать себе самую действительность русскую; по романам Достоевского он не узнает правды о *самом обществе* русском второй половины нашего века; он поймет только известное течение чувств и мыслей. [302] По другим писателям можно изучать нормальную жизнь; по Достоевскому можно изучать только ее психопатию, ее крайние уклонения, быть может (я говорю: *быть* может), а главное — можно изучать самого автора, его идеалы, его собственные душевные извороты, его собственные горести, борьбу и мечтания.

От лиц Достоевского не веет правдой жизни; от них веет только правдой собственного сердца автора, его пламенеющей искренностью. За исключением разве преступников „Мертвого дома“, весьма объективно изображенных, все лица Достоевского суть в самом точном смысле слова *создания* его воображения. И мне, например, прожившему весьма разнообразно до 60 лет и в самых разнообразных слоях русского общества, *ни одно из его лиц никого из знакомых не напоминает*. *Чувства* знакомы, хотя и с несравненно меньшей напряженностью, и с меньшей исключительностью ухищренных изворотов; но *лица не знакомы* вовсе.

Поэтому я и „дворян“ романа „Подросток“ никак не могу считать хоть сколько-нибудь представляющими *действительное* дворянство русское. Ни Версиров, ни старый князь, ни офицер Сокольский, ни другие лица романа не годятся в *совокупности* своей в представители этого сословия; скажу больше: совокупность, составленная из таких людей, как все дворяне в романах Достоевского, не только не соответствует реальной совокупности, составленной из точно такого же числа дворян, самых лучших, самых худших и средних, взятых из действительности, но она не соответствует даже и другой, менее *реальной* совокупности, составленной из дворян Тургенева, Толстого, Маркевича и Писемского.

Совокупность дворян Достоевского и нереальна, и ненормальна...

Но если так, мне скажут, на что же мне было мнение Достоевского о дворянах?

Дорого мне в этом вопросе мнение Достоевского и даже очень дорого потому, что публициста и моралиста я ценю в Достоевском несравненно выше, чем повествователя. „Дневник писателя“, не во гнев будь сказано поклонникам покойного романиста, для меня во сто раз драгоценнее всех его романов.

Насколько мало у Достоевского в романах его и здоровья, и истинного чувства русской реальности (сравнительно с другими упомянутыми романистами нашими), настолько, напротив того, как моралист и даже иногда как политик — он здоров и одарен в высшей степени „чутьем“ того, что для России *нужно*.

Я помню то наслаждение, которое я сам испытывал, читая в 70-х годах его „Дневник писателя“, особенно во время борьбы христиан против Турции и во время нашей с нею войны.

Его патриотизм, столь искренний и умный; его монархическое чувство; его религиозные стремления, не всегда правильные и ясные, положим, но всегда глубокие и сильные; этот местами столь милый юмор (например: „За границей уверяют, что наши офицеры, которые сражаются в Сербии, под начальством Черняева, - *социалисты*. Что [303] за вздор, — говорит Достоевский, — *выпить* лишнее — это правда, русский человек слаб; ну, а социализм — это неправда“³). Если цитата не точна — прошу простить. Пишу на память.

Он даже *тогда* предсказывал, что болгары будут неблагодарны нам⁴. Предсказывал это и я, положим, в то же время; но ведь я прожил в Турции десять лет и *видел*, что *такое* болгары! Мне было нетрудно это угадать. Но он, не выезжая из Петербурга, говорил это во время всеобщего увлечения славянами и являлся, таким образом, истинным прозорливцем с этой стороны.

III

Как верно понимал он (давным-давно!), что без веры, без *веры православной именно*, народ русский, да и вся Россия станут никуда негодными. Он не только умом и любовью понимал эту истину, но и особого рода художественным чувством. Чтобы это стало яснее, стоит только вспомнить, с какой непривычной ему объективностью изображены и в самых романах его набожные простолюдины и купцы. Хотя бы в том же „Подростке“ крепостной Макара Долгорукий, *номинальный* отец героя; или в рассказе этого же Макара деспот-купец, который загнал мальчика в реку, а потом, раскаявшись, женился на его матери и кончил жизнь, странствуя по монастырям.

Правда, в религиозных представлениях своих Достоевский не всегда строго держался тех общеизвестных катехизических оснований, которыми руководится все восточное духовенство наше, и позволял себе переступить за пределы их, то влагая в уста русских монахов предсказания о повсеместном превращении государств в одну *на земле торжествующую* Восточную Церковь („Братья Карамазовы“⁵), то сам пророчествуя о какой-то непонятной и „*окончательной*“ всеобщей „гармонии“ земной жизни под влиянием некой особенной русской или славянской любви!

Его необузданное творческое воображение и пламенная сердечность его помешали ему скромно подчиниться стеснениям правильного богословия и разрывали в иных случаях его спасительные узы. Он переходил своевольно, положим, за *черту* общеустановленного и разрешенного, но зато он и всему *тому поклонялся* и все то *читил и любил, что находится по ту сторону черты*. Он только *прибавлял* нечто свое, излишнее и неправильное; но он ничего правильного, ничего издавна иерархией освященного не только не отвергал, но и готов был всегда горой стоять за это правильное и освященное.

Мужика он любил, не потому только, что он мужик, не потому, что он человек рабочий и небогатый; нет — он любил его еще больше за то, что он *русский* мужик, за то, что *религиозен*.

Он звал русский народ „народом-богоносцем“, подразумевая, вероятно, под этим словом не одних простолюдинов, но всех тех и [304] „простых“, и „непростых“ русских людей, которые искренно веруют во Христа.

„Народ-богоносец“ это совсем не то, что „la sainte canaille“ (*святая сволочь, святая толпа*) французских демагогов; у них уличная толпа свята по *тому самому, что она уличная толпа*, бедная, угнетенная и всегда будто бы правая. У Достоевского народ хорош не потому только, что он простой народ и бедный народ, а потому, что он народ *верующий*, православный.

И вот этот-то „народник“ православного стиля, этот всеми инстинктами своими столь *русский* человек в заключение романа, исполненного дворянских слабостей и глупостей, дворянского беспутства и дворянской непрактичности, дворянской „психопатии“, наконец, — говорит, что *дворянство нужно* и что только у одних дворян в России есть истинное *чувство чести*.

Вот что мне дорого!

Как он извлек это политическое нравоучение из этого *именно* романа, — я понять не могу.

Но даже и самое недоумение это для моей главной мысли выгодно.

Если из „Подростка“ можно нечто подобное извлечь, то тем более, я надеюсь, можно извлечь это из „Дворянского гнезда“, „Рудина“, из „Войны и мира“, „Карениной“, из „Масонов“ Писемского или из „Перелома“ Маркевича.

Если позволительно поставить подобный вывод в конце такой истории, где все главные дворяне изломаны, бесхарактерны и почти что ненормальны, то тем более это будет уместно по прочтении других вышеперечисленных романов, где мы встретим рядом со *всякими* дворянами и дворян серьезных, благородных, твердых, весьма образованных, честных и смелых, а главное — *нормальных* и вполне *правдоподобных* в изображении, *почти* лично знакомых каждому из нас. Глубоко верный *русский* инстинкт подсказал Достоевскому, что дворянство русское нужно, что нужен особый класс русских людей, более других тонкий и властный, более других изящный и рыцарственный („чувство чести“), более благовоспитанный, чем специально ученый, и т.д.

Быть может, кончая этот роман свой, в котором дворяне так бестолковы и слабы, Достоевский почувствовал в глубине правдивой души своей, что он не совсем *прав* против русского дворянства, что *реальное* дворянство не виновато в том, что он сам не мастер изображать возможно *положительные характеры* из высших слоев общества, характеры, которые попадают у всех других хороших писателей наших, с которыми он и сам, наверное, в жизни встречался и знакомился и какими (прибавлю я) следует даже вполне *удовлетвориться* здоровому человеку, не гоняясь за вздорными идеалами невозможного совершенства! Почувствовал это и прибавил: „А все-таки дворянство нужно!“⁶ [305]

Не такое, разумеется, какое в „Подростке“, а *какое-то* все-таки нужно.

Нужен для России особый высший класс людей. А кто говорит особый класс, этим самым говорит, что необходимы такие или иные *юридические ограды*. Без этих юридических оград все очень скоро смешивается и теряет силу, формы, выразительность.

Нужны *привилегии*, необходимы и особые *права на власть*. Достоевский был славянофил, но он был человек *жизни*, а не теории.

Если из того убеждения, что дворянство нужно, он не вывел нигде, что необходимы и политические *привилегии* для его сохранения, то это ничего не значит; не успел, случайно не додумался, не дожил, наконец, до 1 марта⁷, ни до предприятий графа Д<митрия> Толстого и Пазухина, ни до всего того, до чего мы дожили.

Хотите вы сохранить надолго *известный тип социального развития*? Хотите, — так оградите и среду его от вторжения незванных и неизбранных, и самих его членов от невольного выпадения из этой среды, в которой держаться им уже не будет никакой охоты, не будет ни идеальных поводов, ни вещественных выгод.

Комментарии

Печатается по изданию: Константин Леонтьев. Избранное. М., 1993. Стр. 299-306. (Кроме Комментария). Для удобства комментирования в скобках[] приведены номера страниц. Впервые: *Гражданин*. 1891. 204-206. Статья вошла в цикл „Записки отшельника“.

¹ О послесловии к роману (письмо Николая Семеновича) см.: *Достоевский*. ПСС. Т. 17. Л., 1976. С. 336-337.

² „Евгений Онегин“ (гл. 3).

³ См.: *Достоевский*. ПСС. Т. 23. Л., 1981. С. 108, 111.

⁴ См.: *Достоевский*. ПСС. Т. 26. Л., 1984. С. 77-79.

⁵ Статья Леонтьева „Оптинский старец Амвросий“ (1891) завершается словами: „Позволю себе напомнить, что многие думают, будто отец Зосима в „Братьях Карамазовых“ Достоевского более или менее точно списан с отца Амвросия. Это ошибка. От. Зосима только наружным, физическим видом несколько напоминает от. Амвросия; но ни по общим взглядам своим (наприм., на перерождение государства в Церковь!), ни по методе руководства, ни даже по манере говорить — мечтательный старец Достоевского на действительного оптинского подвижника не похож. Да и вообще от. Зосима ни на какого из живших прежде и ныне существующих русских старцев не похож. Прежде всего все эти старцы наши вовсе не так слащавы и сентиментальны, как от. Зосима. От. Зосима это воплощение идеалов и требований самого романиста, а не художественное воспроизведение живого образа из православно-русской действительности“ — *Гр.* 1891. С. 313.

⁶ Размышления Достоевского в 1873 - 1874 гг. о роли русского дворянства анализируются в кн.: *Семенов Е. И.* Роман Ф. М. Достоевского „Подросток“. Л., 1979. С. 17-35. См. также: *Достоевский*. ПСС. Т. 17. Л., 1976. С. 262 - 265, 332 - 334.

⁷ Имеется в виду убийство Александра II.